



ХП. УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ В САРАТОВСКОЙ ГИМНАЗИИ

Вопреки ожиданиям Чернышевского условия были приняты попечителем, и в январе 1851 года последовал приказ об определении его на должность учителя словесности в Саратовскую гимназию.

Все пути к отступлению были отрезаны, и 12 марта, дождавшись попутчиков — уроженцев Симбирска Д. И. Минаева (ехавшего служить в Симбирск) и тамошнего учителя Н. А. Гончарова (брата романиста), Чернышевский выехал с ними в повозке Гончарова на родину.

Первый из попутчиков был уже довольно хорошо знаком ему по кружку Введенского, где они часто встречались за последние месяцы пребывания в Петербурге. Дмитрий Иванович долгие годы провел на военной службе, дослужился до чина подполковника, затем вышел из строевой службы и стал военным чиновником. Любя литературу и живопись, он отдавал весь свой досуг рисованию и литературным опытам, писал и печатал иногда стихи в «Библиотеке для чтения», в «Иллюстрации», переводил, сочинял повести и драмы в романтическом вкусе и выпустил отдельной книгой свое переложение «Слова о полку Игореве».

Он был лет на двадцать старше Чернышевского и тем не менее относился к юноше с нескрываемым уважением.

Сын Дмитрия Ивановича, известный впоследствии поэт-сатирик, учился в это время в одном из военно-учебных заведений — Дворянском полку, где русскую литературу преподавал Иринарх Введенский. Посещая кружок Введенского, Дмитрий Иванович не скрывал своих политических симпатий к петрашевцам, по делу которых привлекался в свое время к допросу.

Познакомившись здесь с Минаевым, Чернышевский не раз имел случай убедиться в том, что Дмитрий Иванович хотя и не слишком хорошо разбирался в социально-политических теориях, но инстинктивно тянулся к проповедникам революционных идей.

Однажды Чернышевский был свидетелем того, как Минаев среди многолюдного общества, собравшегося у Введенского, «рассказывал о жестокости и грубости царя и говорил, как бы хорошо было бы, если бы выискался какой-нибудь смельчак, который решился бы пожертвовать своей жизнью, чтоб прекратить его».

Нельзя отказать в смелости Минаеву, если принять во внимание, что эта речь о цареубийстве произносилась вскоре после расправы над петрашевцами.

Кончилось это собрание у Введенского чтением статей Герцена. После этого Чернышевский сам посетил Минаева и с интересом слушал рассказы Дмитрия Ивановича, хорошо знавшего жизнь военной среды и провинциальных чиновников. По просьбе Минаева Чернышевский тогда же достал и отнес ему роман Герцена «Кто виноват?».

Идеи Герцена были светильником для передовой русской интеллигенции в темной ночи николаевской реакции после разгрома кружка петрашевцев.

Оказавшись теперь попутчиками, Чернышевский и Минаев «дорогою рассуждали между собою о коммунизме, волнениях в Западной Европе, революции, религии». Передавая характер этих дорожных разговоров, Чернышевский отмечает, что он рассуждал об этих вопросах с позиций убежденного сторонника материалистической философии и социалистических идей, а о Минаеве говорит, что он показался ему «человеком еще лучше того, чем раньше, — человеком с светлым умом и благородною душою, я имел, — говорит Чернышевский, — на него, как мне кажется, довольно большое влияние своими толками о Штраусе¹ и коммунизме». И хотя собеседник Чернышевского был почти вдвое старше его, убежденность юноши неотразимо подействовала на него; к концу совместного путешествия Чернышевский мог сказать: «Он теперь причисляет себя к коммунистам, хотя, может быть, и не понимает хорошо, куда они хотят идти и какими путями».

Эти беседы с Минаевым, разговоры с Александрой Григорьевной, краткая, но выразительная запись в дневнике — «распространяю здесь довольно много свои мысли», — запись, относящаяся ко времени пребывания его летом 1850 года в Саратове, участие в спорах, происходивших в кружке Введенского, — все это рисует юного Чернышевского как неутомимого пропагандиста революционных идей, всецело захвативших его в последние годы пребывания в университете.

В Москве на этот раз останавливались лишь на несколько часов, так как надо было торопиться из-за близившейся с каждым днем и часом весенней распу-

¹ Этим именем автора «Жизни Иисуса» условно обозначена здесь тема беседы.

тицы. Последнее свидание Чернышевского с Александрой Григорьевной было поэтому очень кратковременным. Он узнал, что единственная сестра ее вышла замуж, уехала из дому и одиночество Александры Григорьевны стало еще беспросветней. Прощаясь, он звал ее приехать в Саратов, хотя сам слабо верил в то, что она решится на это.

Остановка в Нижнем была еще более короткой. Не застав Михайлова дома, Чернышевский не мог дождаться его, несмотря на то, что ему очень хотелось поделиться мыслями и чувствами со своим другом.

Через полтора часа повозка Гончарова уже выехала на Казань. На второй станции после Нижнего ямщик смутил путников рассказами о том, как опасно ездить в такую пору, особенно по Кудыме — теплой речке, которая проела лед, и они просили его ехать шагом.

Прибыв к вечеру в Казань, путники тотчас же хотели перебраться на другой берег Волги, чтобы с утра спешить дальше. Но повозку через реку не пустили, принудив их ночевать на почтовом дворе и дожидаться утреннего заморозка. Переезд через реку в такое время года был так опасен, что только привычный человек мог совершить его, не теряя присутствия духа. К утру ветер разогнал облака и подсушил дорогу, затянув лужи тонким слоем льда. Ехали медленно, продвигаясь шаг за шагом, старательно объезжая полыньи и трещины, и с огромным трудом, наконец, добрались до ямщицкого двора на другом берегу реки.

Путь из Казани до Симбирска, затрудненный весенним разливом, тянулся двое суток. Первоначально Чернышевский предполагал, что последнюю часть пути, от Симбирска до Саратова, ему придется ехать одному, без спутников, но Минаев дорогою решил, что и он

заедет в Саратов по каким-то своим делам. Симбирский почтмейстер присоветовал им задержаться в городе на несколько дней, чтобы переждать, пока спадет вода в мелких речках и переезд через них станет сносным. Они так и сделали, рассудив, что действительно лучше пробыть несколько суток в городе, нежели простоять в поле над каким-нибудь затопленным оврагом.

Наконец, в первых числах апреля после многодневного путешествия Чернышевский завидел очертания родного города, широко раскинувшегося над Волгой...

Он не сразу приступил к занятиям в гимназии, так как приехал в каникулярное время.

Из окон мезонина, где он поселился, видна была Волга во всей своей необъятной ширине, зеленый остров, левый берег реки с Покровской слободой и лесными чащами, темный мыс с деревенькой Увек...

В первые дни по приезде он, осмотревшись, возобновил старые знакомства, навестил товарищей по семинарии, посетил будущих сослуживцев.

В намерения его не входило обосноваться в Саратове на все время. Напротив, он с самого начала рассчитывал через год, через два вернуться в Петербург. Покидая столицу, Чернышевский записал в дневнике, что возвратится туда уже степенным человеком, между тем как теперь многим он еще кажется слишком юным. Ведь вот, например, начальник Пажеского корпуса в ответ на просьбы Иринарха Ивановича о месте учителя для Чернышевского откровенно заявил Введенскому: «Как же можно принять такого молодого человека, который сам не старше своих учеников?»

Вероятно, этим же объяснялось и то, что ученики 2-го кадетского корпуса, куда он поступил незадолго до определения в Саратовскую гимназию, вели себя на его уроках «ужасно скверно».

Ни от родных, ни от друзей, ни от своих воспитанников не скрывал Чернышевский, что Саратовская гимназия только переходный этап для него, что он поступил сюда ненадолго, что его настоящие надежды и чаяния не здесь, а в Петербурге.

Уже месяца через два после приезда на родину он писал Михайлову: «В Саратове я нашел еще большую глушь, чем нашли Вы в Нижнем. До сих пор я об этом, впрочем, мало тужу, потому что чем менее людей, тем менее развлечений, следовательно, тем скорее кончу свои дела, а кончивши их, потащусь в Петербург».

Перед отъездом Чернышевского в Саратов Срезневский взял с него слово, что и там он не оставит работы над словарем к Ипатьевской летописи, а затем, закончив словарь, защитит диссертацию и посвятит себя университетской науке. Кроме того, Срезневский посоветовал ему познакомиться с адъюнкт-профессором Киевского университета, автором ряда выдающихся работ по русской истории — Николаем Ивановичем Костомаровым, жившим тогда в Саратове на положении ссыльного. Срезневский отзывался о Николае Ивановиче как о человеке большого ума и замечательных дарований.

Костомаров был арестован в Киеве в марте 1847 года за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве, мечтавшем о демократической федерации всех славян (в это братство входил и Тарас Шевченко). После годичного заключения в Петропавловской крепости Костомаров был выслан в июне 1848 года в Саратов, где ему пришлось прожить много лет.

Чернышевский по приезде на родину не замедлил посетить ссыльного профессора, числившегося на службе при губернском правлении в должности пере-

водчика, хотя переводить, как он сам говорил, было нечего. Близко познакомившись с ним и с его матерью, Татьяной Петровной, бывшей крепостной, Чернышевский стал часто бывать у Николая Ивановича, проводя время в жарких спорах, в беседах на ученые темы, в игре в шахматы и в совместных прогулках по Саратову и его окрестностям. Они видались почти ежедневно, бывая друг у друга на протяжении многих месяцев. Костомаров, как и Введенский, был значительно старше Чернышевского, — в пору их знакомства и сближения Костомарову шел уже тридцать четвертый год, — тем не менее обществом молодого учителя Саратовской гимназии он дорожил.

Много лет спустя, вспоминая об этом времени в «Автобиографии», Костомаров писал: «...судьба поставила меня с ним в самые близкие, дружественные отношения, несмотря на то, что в своих убеждениях я с ним не только не сходилась, но был в постоянных противоречиях и спорах. Близость с ним сложилась в Саратове и продолжалась в Петербурге до тех пор, пока события по поводу студенческих демонстраций (в начале шестидесятых годов. — *Н. Б.*) не развели нас совершенно. Чернышевский был человек чрезвычайно даровитый, обладавший в высшей степени способностью производить обаяние и привлекать к себе простотою, видимым добродушием, скромностью, разнообразными познаниями и необычайным остроумием...»

Несмотря на то, что в политических взглядах Чернышевского и Костомарова уже и в ту пору было резкое различие, приведшее их впоследствии к разрыву, знакомство с крупным ученым, обладавшим огромным запасом разносторонних знаний, не могло не импонировать тогда юноше.

Вот что писал в конце 1851 года Чернышевский Срезневскому: «Вы, Измаил Иванович, в таких выражениях говорили мне об уме и характере Николая Ивановича, что я тотчас же по приезде своем в Саратов поспешил быть у него; я нашел в нем человека, к которому не мог не привязаться... Ожидая разрешения выехать отсюда и жить в столицах, может быть, даже разрешения продолжать службу по прежнему ведомству, если не профессором, то, по крайней мере, библиотекарем, редактором какого-нибудь журнала или чем-нибудь подобным, Николай Иванович не решается ни поступить серьезным образом в гражданскую службу, ни основаться прочно в Саратове. Можно надеяться, что в скором времени ему и действительно дадут подобное разрешение... Но теперь пока живет он в Саратове без определенного занятия... Естественно, что, видя свою карьеру расстроенною, видя себя оторванным от своих любимых занятий, лишившись, на время по крайней мере, цели в жизни, Николай Иванович скучает, тоскует; он пробует заниматься, но невозможность видеть свои труды напечатанными отнимает охоту трудиться: так писал он историю Богдана Хмельницкого — цензура обрезала ее до бессмыслия; он не захотел портить своего труда и оставил его у себя в бюро. А история эта разливала новый свет на положение Малороссии в XVII веке и присоединение ее к России. Надолго это отбило его от новых трудов; наконец, принялся он за эпоху Ивана Васильевича Грозного. Он верит в возможность этому труду пройти малоизмененным в печать и горячо взялся за него...»

Впоследствии Чернышевскому не раз доводилось высказываться на страницах «Современника» об исторических работах Костомарова, и он неизменно отзывался о них с большим одобрением. В 1857 году

Чернышевский отметил, что «мало людей, которые по всей справедливости заслуживали бы имя замечательных ученых, потому что для этого мало трудолюбия и учености, — нужна, кроме того, особенная сила ума, нужна широта и пронизательность взгляда, нужно соединение слишком многих и слишком редких качеств. Своим «Богданом Хмельницким» г. Костомаров доказал, что принадлежит к подобным людям».

И в самом конце своего жизненного пути Чернышевский снова подтвердил высокую оценку работ Костомарова. В приложениях к своему переводу «Всеобщей истории» Вебера Чернышевский дал в XI томе отрывок из «Истории России в жизнеописаниях главнейших ее деятелей» Н. Костомарова, сопроводив отрывок следующим примечанием: «Немецкие ученые считают Костомарова замечательнейшим из современных русских историков; их мнение справедливо... Труды его имеют очень высокое научное достоинство... Должно желать, чтобы молодые люди, готовящиеся разрабатывать русскую историю, внимательно изучали мнения Костомарова».

Однако, отдавая должное ученым заслугам историка, Чернышевский и в саратовский период своей жизни и позднее в Петербурге справедливо осуждал ограниченность его политического кругозора.

«Мое знакомство с ним, — вспоминал уже в восьмидесятых годах Чернышевский, — было знакомство человека, любящего говорить об ученых и тому подобных не личных, а общих вопросах с человеком ученым и имеющим честный образ мыслей. Мой образ мыслей был в начале моего знакомства с ним уж довольно давно установившимся. И его образ мыслей я нашел тоже уж твердым. Потому, если мы думали о каком-нибудь вопросе неодинаково, то спор мог итти беско-

нечно, не приводя к соглашению. Были вопросы, о которых и шли бесконечные споры. Но в те времена в России было между учеными мало людей, в образ мыслей которых входили бы элементы, симпатичные мне. А в образе мыслей Костомарова они были. На этом было основано мое расположение к нему».

Что же привлекало Чернышевского к исторической концепции Костомарова, какие «элементы» в ней были симпатичны ему и что, напротив, вызывало у него отпор и резкое отрицание?

Костомаров был одним из первых русских историков, обративших серьезное внимание на великую роль народа в историческом процессе. Вдумываясь в исторические труды, рассказывает Костомаров в «Автобиографии», «...я ...пришел к такому вопросу: отчего это во всех историях толкуют о выдающихся государственных деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают жизнью народной массы? Бедный мужик, земледелец-труженик как будто не существует для истории; отчего история не говорит нам ничего о его быте, о его духовной жизни, о его чувствованиях, способе проявлений его радостей и печалей? Скоро я пришел к убеждению, что историю нужно изучать не только по мертвым летописям и запискам, а и в живом народе...»¹.

Вот это понимание Костомаровым великой роли народа в историческом развитии страны, его страстная любовь к народному творчеству, неутомимое собирание им памятников этого творчества — исторических песен,

¹ Сравни взгляд Гоголя, так замечательно выраженный им и в статье «О малороссийских песнях» и в письме к Максимовичу 1833 г.: «...Песни! как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями!»

легенд и преданий, глубокое изучение народного быта и нравов, положенное в основу его исторических работ, делали их чрезвычайно ценными в глазах Чернышевского.

Но он оговаривается в статье об «Автобиографии» Костомарова, что только «элементы» образа мыслей выдающегося историка могли быть близки и симпатичны ему. В остальном же политическое мировоззрение Костомарова резко разнилось от цельного революционного и материалистического образа мыслей будущего вождя «мужицких демократов».

Различие это уже тогда давало чувствовать себя на каждом шагу: стоило им коснуться в беседе вопроса о судьбах славянских племен, или о роли религии, или об отношении к власти, — тотчас же вспыхивали между ними горячие споры, длившиеся без конца.

Но, разумеется, не в одних только спорах проводили время Чернышевский и Костомаров. Знакомство это быстро прекратилось бы, не будь у них никаких общих интересов и точек соприкосновения. Кроме глубокого интереса к истории, сближала их в то время и любовь к литературе и поэзии. И тот и другой обладали исключительной памятью и знали наизусть бесчисленное количество произведений не только русской, но и европейской поэзии. Вероятно, не раз разбирали они в разговорах произведения Пушкина, Лермонтова, Мицкевича, чешских поэтов.

С уверенностью можно сказать, что Костомаров посвятил Чернышевского во все детали дела Кирилло-Мефодиевского братства. Ведь, сойдясь с Чернышевским, он делился с ним всеми мыслями и чувствами, вплоть до сокровенных личных переживаний. Вероятно, рассказ о трагической участи замечательного народного поэта Украины Тараса Шевченко Чернышевский

услышал впервые (в подробностях) по приезде в Саратов от Костомарова. Подружившись с автором «Кобзаря» в 1846 году, Костомаров с восхищением зачитывался стихотворениями Шевченко, который видел путь к освобождению украинского народа прежде всего в революционном единении всех славянских народов с русским народом и обращался к ним с пламенным призывом:

...Вставайте,
Цепи разорвите
И злодейской вражьей кровью
Волю окропите.
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте, помяните
Добрым, тихим словом.

Некоторый опыт в деле преподавания у Чернышевского был еще до поступления учителем в гимназию. В течение многих лет он давал уроки в семье крупного петербургского чиновника Воронина. В студенческие годы, кроме этого, были у него и другие частные уроки. До отъезда из Петербурга месяца три он учительствовал во 2-м Петербургском кадетском корпусе.

Таким образом, не вовсе новичком в педагогике явился Чернышевский в Саратовскую гимназию. Вскоре после начала занятий он поделился своими впечатлениями от гимназии с Михайловым в письме к нему от 28 мая 1851 года: «Воспитанники в гимназии есть довольно развитые. Я по мере сил тоже буду содействовать развитию тех, кто сам еще не дошел до того, чтоб походить на порядочного молодого человека. Учителя — смех и горе, если смотреть с той точки зрения, с какой следует смотреть на людей, все-таки потершихся в университете, — или позабыли всё, кроме

школьных своих тетрадок, или никогда и не имели понятия ни о чем. Разве, разве один есть сколько-нибудь развитой из них. А то все в состоянии младенческой невинности, подобные Адаму до вкушения от древа познания добра и зла. Вы понимаете, что я поставляю условием того, чтобы называться развитым человеком. Они и не слыхивали ни о чем, кроме Филаретова катехизиса, свода законов и «Московских ведомостей» — православие, самодержавие, народность. А ведь трое из них молодые люди...»

В затхлую атмосферу казенщины, муштры и формализма ворвался свежий ветер. Первые же уроки Николая Гавриловича поразили учеников своей новизной и необычайностью.

Устаревший учебник он заменил живой, увлекательной беседой, подробным разбором лучших произведений русской литературы.

Один из учеников Чернышевского, М. А. Воронов (ставший в конце пятидесятих годов его секретарем и сотрудником «Современника»), писал: «Особенно полное и глубокое впечатление он произвел на нас чтением Жуковского, к поэзии которого питал тогда особенную склонность наш детский мечтательный ум. Мы, помню, плакали над сказкой «Рустем и Зораб», прочитанной, правда, с необыкновенным умением и чувством».

По словам другого ученика, И. А. Залесского, читал Чернышевский образцово и увлекательно. Он «входил в характер действующих лиц и менял, смотря по содержанию, голос, тон и манеры. Казалось, он сам переживал те события, о которых читал. Так, помнится, прочитаны были им: «Ревизор» Гоголя, «Обыкновенная история» Гончарова, несколько стихотворений Жуковского и др.». Особенно охотно он читал и разби-

рал с учениками сочинения Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Об этих писателях тогдашние гимназисты или имели самое смутное представление, или не имели никакого. Детальный разбор их произведений позволял Чернышевскому касаться в беседах с учениками и тех язв, которые разъедали тогда русское общество. Крепостное право, суд, система воспитания и тому подобные «запретные» темы становились предметом обсуждения в классах Чернышевского.

Он будил мысль учеников, подготавливая их к широкому пониманию вопросов жизни и науки. «С поступлением его в учителя бессмысленное зубрение уроков словесности прекратилось и дан был ход живому слову и мышлению. Но что особенно нас поразило, — рассказывает один из учеников Чернышевского, — то это его живая, понятная нам речь и затем его уважение к нашей личности, которая подвергалась всевозможным унижениям со стороны нашего начальства и учителей».

Он стремился развить в своих воспитанниках самостоятельность мышления путем совместного обсуждения с ними достоинств и недостатков школьных сочинений, умело вовлекая в собеседования каждого ученика.

Удостоверившись в том, что многие предметы проходятся в гимназии поверхностно, что ученики плохо знакомы с историей, географией и другими общественными дисциплинами, Чернышевский не стал ограничиваться рамками преподаваемого им предмета, восполняя при каждом удобном случае сведения гимназистов в области смежных наук, особенно истории.

На живых примерах показывал он ученикам теснейшую связь выдающихся литературных явлений с событиями исторической жизни народа.

В своей преподавательской работе молодой учитель Саратовской гимназии применял на деле те теоретические положения, которые позднее были развиты им во многих статьях, посвященных вопросам педагогики.

Великий просветитель считал, что недостаточно давать учащимся знания, — надо наряду с этим прививать им честные и благородные убеждения, воспитывать в них общественные навыки, готовить их к жизненной борьбе, вооружать передовым мировоззрением.

Не довольствуясь классными занятиями, Николай Гаврилович приглашал иногда учеников старших классов к себе на дом и здесь совместно с Костомаровым вел с ними беседы на литературные и исторические темы. Он приохотил многих учеников к самостоятельному чтению, давая им книги из своей библиотеки.

Если прежде из пятнадцати-семнадцати учеников, оканчивавших курс Саратовской гимназии, в университеты поступало не более трех-четырёх человек, то в 1853 году из того же числа выпущенных гимназистов отправилось в университеты сразу десять человек. Это, разумеется, было следствием влияния Чернышевского.

Немудрено, что гимназисты страстно привязались к учителю словесности; с нетерпением ожидали они его урока, и в классе, когда он начинал говорить, воцарялась всегда мертвая тишина: «даже самые шаловливые мальчишки затихали и напрягали слух, боясь проронить хотя бы одно слово».

«Ежедневно, возвращаясь после классов домой, — пишет И. А. Воронов, — Чернышевский был сопровождаем множеством учеников, с которыми он, как отец с детьми, дружески беседовал, узнавал о здоровье их домочадцев, где они живут, шутил и смеялся и пожимал руки тех, кому приходилось, приближаясь к своему

дому, прощаться с учителем. Летом, по вечерам, Чернышевский делал прогулку, и если видел, что в каком-нибудь дворе идет игра гимназистов, то заходил во двор и принимал участие в забавах. Тут Чернышевский до того оживлялся и увлекался развлечением игрою, что от чрезмерной усталости усаживался для отдыха на каком-либо обрубке или доске, ведя разговор с мальчиками. Все это свидетельствовало о его любви к ученикам, которые, в свою очередь, чтити и уважали Чернышевского...»

Реакционная часть учительства неприязненно относилась к нововведениям молодого учителя. Особенно резкий отпор встретил он со стороны директора гимназии А. А. Мейера.

Сухой формалист, чиновочитатель и педант, желчный и раздражительный, Мейер был типичным представителем школьной администрации николаевского времени. Среди гимназистов была распространена песенка, заканчивавшаяся словами:

Уж нам наскучили петлицы,
 Галун, фуражки и мундир,
 И все учительские лица,
 И наш директор-командир!

Он свысока смотрел на учителей и крайне грубо обращался с учениками. Нередко можно было услышать, как он кричал кому-нибудь из гимназистов: «На барабане велю остричь волосы, если не снимешь их к завтрашнему дню! Каналья! Прогрессист!»

Мейер не принимал прошений, подаваемых на его имя, если проситель забывал после слов «г-ну директору училища» добавить: «и кавалеру ордена»... Он не садился в клубе играть в карты с лицами, имевшими чин ниже статского советника.

У такого директора не могли не возникнуть трения с Чернышевским. Заметив, что учитель словесности пренебрегает формальной стороной дела, Мейер заявил инспектору в присутствии учеников: «Что это Чернышевский допускает какую вольность? Он в журнале отметки ставит карандашом. Велите ученикам подавать ему чернила». Когда Чернышевскому передали это, он ответил: «От этого знания учеников не прибавятся...»

Пренебрег Чернышевский и другим требованием директора — не выходить за рамки одобренного начальством учебника и прекратить в классе чтение и разбор произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Гончарова. Тогда Мейер стал чаще заглядывать в дверное окошко во время уроков русской словесности, чтобы посмотреть, что делается в классе, стал заходить в класс, спрашивать учеников, вмешиваться.

Нередко происходили такие сцены: «Войдет, бывало, Мейер в класс, а Николай Гаврилович рассказывает о чем-нибудь. «Спросите учеников урок», — скажет Мейер. «Я еще не кончил своих объяснений. Позвольте прежде окончить их, и тогда я спрошу урок ученика по вашему выбору», — скажет Николай Гаврилович. Но Мейер, недовольный таким ответом, повернется, не сказав ни слова, и выйдет из класса... Иногда Николай Гаврилович при входе Мейера в класс вовсе прекращал занятия. «Что вы делаете? — спросит он Николая Гавриловича. — Продолжайте ваши объяснения». — «Не могу, утомился, — ответит он, — да и ученики тоже устали: нужно дать им отдых...»

Происходили у Чернышевского столкновения с Мейером и из-за ответов ученикам на экзаменах: он резко противодействовал придиркам директора, несправедливо оценивавшего успехи его учеников. Однажды он

даже вынужден был демонстративно покинуть класс, не дождавшись конца экзамена.

Чернышевский не хотел уступать директору, прекрасно понимая, что тот придирается к его ученикам только потому, что недоволен им самим. По городу с некоторых пор уже стали распространяться слухи о том, что Чернышевский занимается в классах революционной пропагандой. Эти слухи могли исходить от самого Мейера, который не раз восклицал: «Какую свободу допускает у меня Чернышевский! Он говорил ученикам о вреде крепостного права. Это вольнодумство и вольтерянство! В Камчатку упекут меня за него!»

Действительно, мысли Чернышевского попрежнему были всецело поглощены политическими вопросами. Он никогда не упускал случая распространять революционные идеи среди друзей, знакомых и учеников. Эту неутолимую страсть свою он образно сравнивал (в одном из писем к Михайлову) со страстью Пигмалиона, изображенного в «Идеалах» Шиллера:

Как древле рук своих создание
 Боготворил Пигмалион —
 И мрамор внял любви стенанье,
 И мертвый был одушевлен:
 Так пламенно объята мною
 Природа хладная была —
 И, полная моей душою,
 Она подвиглась, ожила...

Судя по тому, что Чернышевский избрал для сравнения с собою *Пигмалиона*, страсть его часто встречала глухое непонимание, но он не впадал в уныние, не опускал рук, не останавливался, не прекращал усилий, твердо веря, что рано или поздно мрамор «оживет».

Из воспоминаний преподавателя Саратовской гимназии Е. А. Белова известно, что Чернышевскому пришлось выдержать объяснение с Мейером по поводу того, что он рассказывал гимназистам на своем уроке о Французской буржуазной революции 1793 года, после чего по городу и пошли слухи, что учитель словесности «проповедует революцию».

Чернышевский понял, что ему придется покинуть гимназию. Да ему и узким уже казалось педагогическое поприще. Его манил к себе Петербург, где он мог бы развернуть свои силы в литературе и в журналистике.

Ведь еще в студенческие годы мечтал он о трибуне журналиста, борца за дело революционной демократии.

«Да что ж, наконец, я делаю здесь? — писал он в дневнике. — И до каких пор это будет продолжаться?.. Неужели я должен остаться учителем гимназии или быть столоначальником, или чиновником особых поручений, с перспективою быть ассессором? Как бы то ни было, а все-таки у меня настолько самолюбия еще есть, что это для меня убийственно. Нет, я должен поскорее уехать в Петербург».

Перемена в личной жизни Чернышевского, происшедшая весной 1853 года, ускорила его отъезд из Саратова.

